

Альфонс Доде

# Сафо



*Часть сборника  
Сафо (сборник)*



Альфонс Доде

**Сафо**

«ФТМ»

1884

**Доде А.**

Сафо / А. Доде — «ФТМ», 1884

В центре романа – дама полусвета Фанни Легран по прозвищу Сафо. Фанни не простая куртизанка, а личность, обладающая незаурядными способностями. Фанни хочет любить, готова на самопожертвование, но на ней стоит клеймо падшей женщины.

© Доде А., 1884

© ФТМ, 1884

# Содержание

I	5
II	10
Конец ознакомительного фрагмента.	17

# Альфонс Доде

## Сафо

### *Парижские нравы*

*Моим сыновьям – с условием, что они прочтут эту книгу, когда им исполнится двадцать лет.*

## I

- Да ну, посмотрите же на меня!.. У вас красивые глаза... Как вас зовут?
- Жан.
- Просто-напросто Жан?
- Жан Госсен.
- Вы южанин, вас выдает произношение... Сколько вам лет?
- Двадцать один год.
- Вы художник?
- Нет.
- Ах, как хорошо!..

Июньской ночью на бале-маскараде, в оранжерее, где росли пальмы и древовидный папоротник, служившие фоном мастерской Дешелета, обменивались обрывками этих фраз, заглушаемых криками, смехом, танцевальной музыкой, *pifferaro*<sup>1</sup> и феллашка.

На ее настойчивые расспросы *pifferaro* отвечал с простодушием, свойственным его нежному возрасту, с увлечением, с чувством облегчения, которое испытывал сейчас этот долго молчавший южанин. Чуждый миру художников и скульпторов, при входе на бал тотчас потерявший приятеля, который его сюда привел, он целых два часа прохаживался от скуки по залам, а женщины заглядывались на этого красивого блондина с лицом, покрытым золотистым загаром, с мелкими и густыми, как ворс на его костюме, завитками волос, и незаметно для южанина вокруг него уже вздымалась и рокотала волна успеха.

Танцоры толкали его, молодые художники хихикали над волынкой, которую он держал боком, хихикали над тяжелой одеждой горца, в которой ему летней ночью было мучительно жарко. Между тем японка с глазами простолюдинки, с поддерживавшими ее высокую прическу стальными прутьями, задорно поглядывая на него, напевала: «Ах, как ты хорош, ах, как ты пригож, парень молодой!..» А невеста-испанка в шелковом платье с белыми кружевами, идя под руку с вождем индейского племени, яростно тыкала ему в нос букетом жасмина.

Он ничего не мог понять в этих заигрываниях; ему представлялось, что вид у него, наверное, сейчас уморительный, и он предпочел укрыться в прохладной тени застекленной галереи, где у самой стены под деревьями стоял широкий диван. Тут-то к нему и подсела эта женщина.

Красивая, молодая?.. Это он не сумел бы сказать... Из длинного синего шерстяного платья, обтягивавшего ее полное тело, выступали голые до плеч тонкие округлые руки. Изящные пальцы, унизанные кольцами, серые, широко раскрытые глаза, величину которых подчеркивали свисавшие со лба затейливые металлические украшения, – все это удивительно гармонировало.

Наверно, актриса. У Дешелета их перебивало много. Эта догадка встревожила его – подобная категория женщин внушала ему непреодолимый страх. Она сидела рядом, уперев

---

<sup>1</sup> Волынщик (итал.).

локоть в колено, уронив голову на руку, и смотрела на него торжественно-грустно и слегка утомленно.

– Нет, вы правда южанин?.. А волосы какие светлые!.. Это редкость.

Потом ей захотелось узнать, когда именно он переехал в Париж, труден ли экзамен на право занятия должности консула, много ли у него знакомых и как он очутился на вечере у Дешелета, на Римской, так далеко от Латинского квартала.

Когда он назвал фамилию студента, который его сюда привел (Ла Гурнери... родственник поэта... ей, конечно, известно это имя...), лицо ее внезапно омрачилось, но он не обратил на это внимания: он был еще в том возрасте, когда глаза блестят, ничего не видя вокруг. Ла Гурнери обещал, что его двоюродный брат тоже будет здесь и что он их представит друг другу.

– Я так люблю его стихи!.. Я был бы счастлив с ним познакомиться... .

Она грустно улыбнулась, – видимо, он внушал ей жалость своей непосредственностью, – изящным движением приподняла плечи, а затем, отведя рукой легкие листья бамбука, устремила взгляд на бал – не видать ли там великого человека.

Празднество между тем блистало и кружилось, как апофеоз в феерии. В мастерской никто не работал, а потому ее скорее можно было назвать холлом, и на легких, летних обоях этой громадной двусветной залы, на шторах из тонкой соломы, на газовых занавесках, на лакированных ширмах, на разноцветной посуде, на кусте желтых роз, закрывавшем очаг высокого камина в стиле Возрождения, играл причудливый, радугой переливающий свет бесчисленных фонариков, китайских, персидских, мавританских, японских, из резного железа, со стрельчатым сводом, точно дверь мечети, из цветной бумаги, придававшей им сходство с плодами, распахнутых в виде веера, напоминавших цветов, птицу ибиса, змею. По временам стремительная мощная струя голубоватого электрического света заставляла тускнеть сонм огоньков и заливала лунным сиянием лица и обнаженные плечи, фантазмагорию тканей, перьев, блесков, лент, во время танцев задевавших одна другую, поднимавшихся по голландской лестнице с широкими перилами, ведущей на галереи второго этажа, над которыми возвышались грифы контрабасов и мелькали осатанелые взмахи дирижерской палочки.

Молодой человек смотрел на все это сквозь сетку зеленых ветвей и цветущих лиан, составлявших часть убранства, обрамлявших празднество, и в силу обмана зрения ему казалось, будто навстречу танцевальной суеи взлетают гирлянды глициний и увивают серебряный шлейф принцессы, будто лист драцены накрывает милую головку пастушки, одетой в стиле помпадур. Его интерес к зрелищу усиливался благодаря тому, что египтянка называла имена – широко известные, славные имена, скрытые под маскарадными костюмами, забавными в своем разнообразии и замысловатости.

Псарь с коротким хлыстом через плечо – это Жадэн. Чуть дальше – в поношенной сутане сельского священника – старик Изабе; он кажется выше своего роста оттого, что в каждую из его туфель с пряжками подложена целая колода карт. Из-под огромного козырька фуражки инвалида улыбается старик Коро. Еще она ему показала Тома Кутюра, вырядившегося бульдогом, Юндта, вырядившегося «тюремной крысой», и Хама, вырядившегося диковинной птицей.

Пышные исторические костюмы, в которые облеклись совсем молодые художники, изображавшие кто Мюрата в шляпе с султаном, кто принца Евгения, кто Карла I, подчеркивали разницу между двумя поколениями: молодые художники были мрачны, холодны, их лица напоминали лица биржевиков, которых старят особого рода морщины, пролагаемые заботами о деньгах, зато старики были куда более шаловливы, шумливы, ребячливы, непоседливы.

Несмотря на свои пятьдесят пять лет и академические пальмы, скульптор Каудаль был в костюме балаганного гусара, с голыми руками, выставившими напоказ мощные бицепсы, с подвешенной наподобие ташки палитрой, бившей его по длинной ноге; он покачивал бедрами, представляя последнего кавалера времен Гранд-Шомьер, а напротив него композитор де Пот-

тер, который изображал подгулявшего муэдзина, в тюрбане набекрень танцевал танец живота и пронзительно выкрикивал: «Алла ил алла!»

Широкий круг гостей отгораживал расшалившихся знаменитостей от танцоров. На самом виду хозяин дома Дешелет щурил под высокой персидской папачой свои маленькие глазки, морщил калмыцкий нос, выставлял седеющую бородку, радовался тому, как развлекаются другие, и сам неприметно для окружающих веселился от души.

Инженер Дешелет, лет десять-двенадцать тому назад представлявший собой заметную фигуру в парижском художественном мире, щедрый, богатый, с поползновениями на причастность к искусству, отличавшийся той внутренней свободой, тем презрением к общественному мнению, которое вырабатывает в человеке образ жизни вечного путешественника и холостяка, в ту пору строил железную дорогу Тавриз – Тегеран и каждый год, чтобы прийти в себя после десятимесячного напряжения, после ночей в палатке, после лихорадочной скачки по пескам и болотам, проводил самое жаркое время года вот в этом особняке на Римской улице, построенном по его чертежам, обставленном, как летний дворец, собирав у себя умных мужчин и красивых женщин и требовал от цивилизации, чтобы она за несколько недель угостила его самыми пряными своими лакомствами.

«Дешелет приехал!» Как только, подобно театральному занавесу, над многооконным фасадом особняка поднимался огромный тиковый навес, новость мгновенно обегала мастерские. Это означало, что пойдет веселье, что предстоит два месяца музыки и танцев, приволья и раздолья, будившего сонную тишь богатого квартала, разъезжавшегося по дачам и морским курортам.

Сам Дешелет не участвовал в вакханалии, день и ночь бурлившей вокруг него. Неутомимый гуляка привносил в развлечения буйство холодное, он смотрел по сторонам блуждающим, улыбочивым взглядом человека, только что накурившегося гашишу, и вместе с тем взгляд его поражал несокрушимым спокойствием и несокрушимой трезвостью. Верный друг, дававший займы без счета, к женщинам он питал чисто восточное презрение, уживавшееся со снисходительностью и учтивостью. И ни одна из тех, что приходили к нему, привлеченные его огромным состоянием и жизнерадостной изобретательностью его окружения, не могла похвалиться, что была его любовницей больше одного дня.

– Что ни говорите, а человек он хороший... – добавила египтянка, продолжавшая просвещать Госсена, и вдруг, оборвав себя на полуслове, воскликнула: – Вот он, ваш поэт!..

– Где? Где?

– Да вот, прямо перед вами... в костюме деревенского жениха...

У молодого человека вырвался вздох разочарования. Так вот он, его любимый поэт! Толстяк, лоснящийся, потный, в пристежном воротничке, в пестром жилете, точно снятом с деревенского щеголя, расточающий тяжеловесные любезности!.. Госсену мгновенно пришли на память вопли отчаяния из «Книги о любви», которую он не мог читать без лихорадочного волнения, и он машинально произнес вслух:

Чтоб жизнь вдохнуть, Сафо, в твой горделивый мрамор,  
Ты знаешь – отдал я по капле кровь мою...

Она живо обернулась, отчего пришли в движение и зазвенели все ее восточные украшения.

– Что вы сказали?

Это были стихи Ла Гурнери. Госсен удивился, что она их не знает.

– Я не люблю стихов... – отрезала она.

Некоторое время она стояла неподвижно, хмурая брови, глядя на танцующих и нервно теребя чудесные гроздья сирени. Затем, справившись с волнением, что, видимо, стоило ей немалых усилий, сказала:

– Прощайте!

И скрылась.

Бедный *pifferaro* остался в полном недоумении. «Что с ней?.. Неужели я сказал ей что-нибудь обидное?..» Он стал припоминать, но так ничего и не припомнил и подумал, что самое лучшее – пойти домой спать. С унылым видом подхватил он свою волынку и, менее озадаченный исчезновением египтянки, чем необходимостью пробираться к двери через всю эту толпу, вошел в бальную залу.

Сознание, что здесь столько знаменитостей, а он никому не известен, наводило на него еще большую робость. Уже никто почти не танцевал. Лишь несколько парочек с остервенением вертелись под звуки замиравшего вальса, и среди них Каудаль, величественный, громадный, держа голову прямо, кружил низенькую санкюлотку, – волосы у нее развевались, а он крепко держал ее своими красными руками.

В настежь распахнутое большое окно в глубине залы потоками вливался утренний бледнеющий воздух, колыхал листья пальм и пригибал огоньки свечей, как бы стараясь задуть их. Вспыхнул бумажный фонарик, загорелись розетки. Вдоль стен слуги расставляли круглые столики, как на террасах кафе. У Дешелета всегда так ужинали – по четыре, по пять человек за столиком. И вот тут-то вы подбирали симпатичных вам людей и объединялись с ними.

Смешались возгласы, свирепые переключки, непристойный жаргон окраин, отвечавший на крикливое «йю-йю-йю-йю!» дочерей Востока, разговоры вполголоса и сладострастный смех женщин, возбужденных лаской.

Госсен воспользовался было суматохой, чтобы проскользнуть к выходу, но в эту минуту его приятель-студент, вспотевший, с выпученными глазами, держа под мышками бутылки, остановил его.

– Где вы пропадаете?.. Я вас искал, искал... У меня уже есть столик, женщины, маленькая Башельри из Комедии-Буфф... Запомните: она одета японкой... Она послала меня за вами... Скорей, скорей!..

С этими словами он убежал.

*Pifferaro* хотелось пить. Вдобавок ему кружил голову бальный хмель, а тут еще славенькая актрисулька делала ему знаки. И вдруг над самым его ухом послышался мягкий, настойчивый шепот:

– Не ходи туда!..

Он оглянулся: перед ним стояла его давешняя собеседница, затем она повела его к выходу, и он не колеблясь последовал за ней. Почему? Тут действовали не чары этой женщины: он ее едва разглядел, а та, что звала его, кивая высокой прической на стальных прутьях, нравилась ему гораздо больше. Он подчинился более сильной воле, неукротимой страстности желания.

«Не ходи туда!..»

И вот они очутились на тротуаре Римской улицы. Освещенные бледным утренним светом, дожидались седоков фиакры. Метельщики, шедшие на фабрики рабочие окидывали взглядом разбушевавшийся, расплескавшийся пир, эту масленицу в разгаре лета, и ряженую парочку.

– К вам или ко мне?.. – спросила женщина.

Госсену почему-то подумалось, что лучше бы к нему, хотя жил он далеко, и он дал извозчику свой адрес. В продолжение всей дальней дороги они почти не разговаривали. Она только держала его за руку, и он чувствовал, что руки у нее маленькие и холодные. Если б не холод



этого нервного прикосновения, он мог бы подумать, что его спутница уснула, – она откинулась на спинку фиакра, и по лицу у нее скользил голубой отсвет шторы.

Фиакр остановился на улице Жакоб, против дома, где жило студенчество. Подняться надо было на пятый этаж – высоко и трудно.

– Хотите, я вас понесу?.. – спросил он, смеясь, но смеясь чуть слышно, оттого что все в доме спали.

Она смерила его медленным взглядом, пренебрежительным и нежным, оценивающим взглядом опытной женщины, внятно говорившим: «Бедное дитя!..»

Тогда он, отдавшись красивому порыву, свойственному его возрасту и южному происхождению, подхватил ее на руки, понес легко, как ребенка, – цвет лица у него был девичьи нежный, а сам он был сильный и стройный, – и, счастливый тем, что у него такая ноша, тем, что его шею обвили красивые свежие голые руки, не поднялся, а взлетел на второй этаж.

Подъем на третий этаж продолжался дольше и уже не доставил ему удовольствия. Безвольное тело женщины становилось все тяжелее. Ее металлические висюльки сначала приятно щекотали его, а теперь они все яростнее в него впивались.

На четвертом этаже он дышал так шумно, словно перетаскивал фортепьяно. Он ловил ртом воздух, а она, глядя на него из-под полуопущенных век, в восторге шептала:

– Ах, дружок, как приятно!.. Как хорошо!..

Когда же он одну за другой брал приступом последние ступеньки, ему казалось, будто перила, стены, узкие окна гигантской лестницы бесконечной спиралью уходят вверх. Не женщину нес он теперь, а что-то тяжелое, страшное, от чего он задыхался и что каждую секунду готов был выпустить из рук, злобно швырнуть, хотя бы даже оно разбилось вдребезги.

Но вот он поднялся на узкую верхнюю площадку.

– Уже?.. – открыв глаза, проговорила она.

А он, бледный как смерть, прижав руки к сердцу, которое, казалось, вот-вот разорвется, подумал:

«Наконец!..»

Подумал, но не сказал.

Что же такое вся их история и этот подъем на лестницу в тоскливой пасмури утра?

## II

Он продержал ее у себя два дня. Потом она ушла, оставив у него ощущение нежной кожи и тонкого белья. Она сообщила ему только свое имя, адрес и прибавила:

– Когда я вам буду нужна – позовите... Явлюсь по первому зову.

На маленькой визитной карточке, изящной, надушенной, было напечатано:

**Фанни Легран**

**Улица Аркад, 6**

Он сунул ее за зеркало между приглашением на бал в министерство иностранных дел и затейливо разрисованной программой вечера у Дешелета, – это были два его выхода в свет за целый год. И воспоминание о женщине, несколько дней еще плававшее вокруг камина в легком и нежном облаке аромата, улетучилось вместе с облаком, и у серьезного, трудолюбивого Госсена, пуще всего остерегавшегося парижских развлечений, даже не возникло мысли возобновить мимолетную связь.

Экзамен при министерстве должен быть в ноябре. На подготовку остается всего три месяца. После экзамена надо будет еще три-четыре года стажировать в канцеляриях, а потом он куда-нибудь уедет, уедет очень далеко. Мысль о добровольном изгнании не пугала его, – традиция Госсен д'Арменди, старинного авиньонского рода, требовала, чтобы старший сын делал себе, что называется, карьеру – по стопам своих предшественников, с их благословения и при их нравственной поддержке. Для нашего провинциала Париж являлся лишь первой остановкой на долгом-долгому пути, и это обстоятельство препятствовало образованию мало-мальски серьезных привязанностей как в любви, так и в дружбе.

Однажды вечером, недели через две после бала у Дешелета, Госсен зажег лампу, разложил на столе книги и только сел за работу, как вдруг кто-то робко к нему постучал. Он отворил дверь и увидел даму в изящном светлом туалете. Узнал он ее лишь после того, как она приподняла вуалетку.

– Как видите, это я... Я опять пришла...

Перехватив озабоченный, недовольный взгляд, который он бросил на начатую работу, она добавила:

– О, я вам не помешаю!.. Я знаю, как это бывает неприятно...

Она сняла шляпку, взяла «Вокруг света», села и, по видимости углубившись в чтение, больше уже не шевелилась. Но всякий раз, как Госсен поднимал на нее глаза, их взгляды встречались.

Право же, надо было обладать изрядной выдержкой, чтобы тотчас же не сдать ее в объятия – так она была соблазнительна, так много обаяния было в ее маленькой головке с низким лбом, во вздернутом носике, в чувственных, добрых губах, в гибкой зрелости тела, облаченного в платье, сшитое с парижской безукоризненностью, более для него притягательное, нежели балахон дочери Египта.

Наутро она ушла от него рано, но потом до конца недели приходила еще несколько раз, всегда бледная, с холодными влажными руками, и говорила голосом, сдавленным от волнения.

– Я же вижу, что я тебе надоедаю, что я тебе мешаю, – твердила она. – Во мне мало самолюбия... Если б ты знал!.. Утром, когда я от тебя ухожу, всякий раз я даю себе клятву больше не приходить. Но вечером на меня опять накатывает, – просто какое-то наваждение.

Сила ее чувства возбуждала его любопытство, изумляла его, – ведь он привык относиться к женщинам с пренебрежением. Девушки из пивной или со скетинг-ринга, которых он знал до нее, – среди них попадались иной раз совсем юные и миловидные, – оставляли в его душе такое неодолимое отвращение к их глупому смеху, к их рукам, как у кухарки, к грубости их инстинктов и выражений, что, когда они уходили, ему хотелось проветрить комнату. По наивности неискушенного, он полагал, что все сговорчивые девушки одинаковы. Вот почему он с таким удивлением обнаруживал в Фанни нежность, чисто женскую сдержанность и отличавшие ее от мешаночек, с которыми он встречался в провинции, столичный лоск и широкую осведомленность, – с ней можно было не без интереса поговорить о многом.

Вдобавок она была музыкальна, пела, сама себе аккомпанируя, чуть надтреснутым, небольшого диапазона, но уверенным контральто песни Шопена и Шумана и народные мелодии: беррийские, бургундские, пикардийские – у нее их был изрядный запас.

Госсен, обожавший пение – искусство, рожденное негой и вольным воздухом, искусство, которому с такой страстью предаются его соотечественники, – упивался звуками даже во время работы, звуками сладко баюкал свой отдых. И в Фанни его особенно восхищала ее любовь к пению. Он как-то выразил ей удивление, почему она не на сцене, и узнал, что она пела в Комической опере. «Только недолго... Мне там было очень скучно...»

В ней и правда не было ничего натасканного, ничего заученного, ничего от артистки; она была начисто свободна и от тщеславия, и от лицемерия. Она лишь отделяла от постороннего взора свою жизнь завесой тайны, и тайну эту не открывала даже в часы ласк, благо ее возлюбленный и не пытался отдернуть завесу, благо он не был ни ревнив, ни любопытен, не смотрел на часы, когда она в условленное время входила к нему в комнату, благо он еще не испытывал мук ожидания, когда в груди отсчитывает часы и минуты маятник нетерпения и страсти.

Лето в тот год было прекрасное, и они отправлялись иногда любоваться живописными окрестностями Парижа, – их точная и подробная карта была у нее в голове. Они втискивались в густую шумную толпу уезжавших с пригородными поездами, обедали в кабачке где-нибудь на опушке леса или на берегу речки, избегая слишком людных мест. Как-то раз он предложил ей поехать в Воде-Серне.

– Нет, нет!.. Только не туда!.. Там уж очень много художников...

Госсен вспомнил, что их любовь возникла именно из ее антипатии к художникам. На его вопрос, откуда у нее эта неприязнь, она ответила так:

– Все они сумасброды, путаники, фантазеры... Мне они сделали много зла...

Он попытался возразить:

– Но ведь искусство само по себе так прекрасно!.. Ничто так не украшает жизнь и не расширяет кругозор, как искусство.

– Нет, дружок, самое прекрасное, что есть на свете, это быть простым и прямодушным, как ты, да еще чтобы каждому было по двадцать лет и чтобы очень любить друг друга...

Двадцать лет! Да ей нельзя было дать больше, такая она была оживленная, легкая на подъем, всегда веселая, всегда всем довольная.

Однажды они накануне праздника приехали в Сен-Клер и, очутившись в долине Шеврез, не нашли комнаты. Было уже поздно; чтобы добраться до ближайшего селения, надо было идти ночью лесом целую милю. В конце концов им предложили складную койку, стоявшую в дальнем конце сарая, где спали каменщики.

– Ну что ж!.. – сказала она со смехом. – Это мне напоминает времена моей бедности.

Значит, она когда-то бедствовала!

Долго пробирались они ощупью между занятыми койками в обширном, недавно побеленном сарае, освещенном чадившей коптилкой, стоявшей в углублении стены... И всю ночь, прижавшись друг к другу, они приглушенно смеялись и целовались под стоны и храп усталых

соночлежников, блузы и грубая обувь которых валялись возле шелкового платья и изящных туфель парижанки.

На зорьке отворилась проделанная в широких воротах дверца, матовый луч света коснулся коек, убитой земли, а затем чей-то сиплый спросонок голос крикнул:

– Эй, шатия-братия!..

После этого в сарае, снова погрузившемся в мрак, началась медленная, тягостная возня, слышались зевота, потягивание, надсадный кашель – весь тот унылый шум, который наполняет пробуждающееся человеческое общежитие. Немного погодя неповоротливые, молчаливые каменщики один за другим вышли из сарая, так и не догадавшись, что в том же помещении ночевала хорошенькая женщина.

Когда рабочие ушли, она встала, ощупью оделась, наскоро скрутила волосы пучком.

– Подожди... Я сейчас приду...

И правда, через несколько минут она вернулась с охапкой полевых цветов, мокрых от росы.

– А теперь будем спать... – сказала она и принялась раскидывать по постели утреннюю пахучую свежесть цветущего луга, разрежавшую вокруг них спертый воздух сарая. И никогда еще не казалась она ему такой красивой, как в этот миг, когда, радуясь восходящему солнцу, с растрепавшимися на ветру легкими кудряшками, она принесла в сарай полевые цветы.

Еще как-то они завтракали в Вилль-д'Авре на берегу пруда. Осеннее утро окутывало туманом тихую воду и ржавчину лесов напротив них. Они ели рыбу и, думая, что они одни во всем ресторанчике, устроенном в саду, под открытым небом, вдруг, не удержавшись, поцеловались. В ту же минуту из грубо сколоченного павильончика, спрятавшегося среди ветвей платана, у подножия которого стоял их столик, слышался громкий сердитый голос:

– Эй вы! Долго вы еще будете лизаться?..

Вслед за тем в проеме выставилась львиная морда и рыжие усы скульптора Каудаль.

– Я бы с удовольствием позавтракал с вами... А то сидишь тут в дупле, как сыч...

Фанни промолчала, она была явно смущена этой встречей. Госсен, напротив, поспешил пригласить Каудаль, – его интересовал знаменитый скульптор, ему было лестно это знакомство.

Сегодня Каудаль, кокетливый при внешней небрежности, ибо все у него было строго рассчитано, начиная с галстука из белого крепдешина, призванного скрадывать красноту морщин и мелких прыщей, и кончая узким пиджаком, обрисовывавшим еще стройную талию и развитые мускулы, показался Госсену старше, чем на балу у Дешелета.

Но что его изумило и даже несколько озадачило, так это интимный тон скульптора с его возлюбленной. Он называл ее «Фанни», обращался к ней на «ты».

– Знаешь, – говорил он, ставя свой прибор на их скатерть, – я уже две недели вдовою. Мария ушла с Моратером. Первое время я был спокоен... Но сегодня утром, когда я вошел в мастерскую, у меня опустились руки... Не могу работать, да и только... Бросил я мою группу и поехал завтракать за город. Но если ты один, то радости никакой... Еще немножко, и я оросил бы слезами фрикасе из кроликов...

Затем он перевел взгляд на провансальца: пробивающаяся борода и выющиеся волосы Госсена, отражаясь в бокалах, окрашивались в тона сотерна.

– Хорошо быть молодым!.. Полная гарантия, что тебя не бросят... А самое главное – сознание, что ты это заслужил... Ты выглядишь так же молодо, как он...

– Невежа!.. – сказала она, смеясь, и в смехе ее звучало нестарееющее обаяние, молодость женщины, любящей и желающей, чтобы любили и ее.

– Ты удивительна... удивительна... – повторил Каудаль; он ел и одновременно наблюдал, и один из углов его рта оттягивала складка завистливой грусти. – Послушай, Фанни: помнишь, как мы с тобой здесь завтракали? Давно это было, страх как давно!.. С нами еще были Эдзано,

Дежуа – вся наша компания... И ты свалилась в пруд. На тебя надели мундир речного сторожа. Тебе это отчаянно шло...

– Не помню... – сказала она холодно и вполне искренне; эти изменчивые, вечно рискующие натуры живут сегодняшним днем своей любви. Они не помнят прошлого, они не боятся будущего.

Каудаль, напротив, был весь в прошлом; под действием сотерна он перебирал в памяти похождения своей неутомимой молодости: похождения любовные, кутежи, поездки за город, балы в Опере, труды в мастерской, битвы и победы. Но, вскинув на влюбленных глаза, в которых горел отсвет тех костров, которые он сейчас разворошил в душе, он заметил, что они его не слушают: они перекладывали друг другу изо рта в рот виноградинки.

– Должно быть, все это очень скучно, что я рассказываю!.. Да, да, я вам надоел... А, черт побери!.. Скверная штука – старость...

Он встал, бросил салфетку на стол.

– Запишите за мной завтрак, папаша Ланглуа!.. – крикнул он ресторатору и, словно подтачиваемый неизлечимым недугом, пошел, уныло волоча ноги.

Влюбленные долго провожали взглядом его высокую фигуру, порой нагибавшуюся, чтобы ее не задела ветви с пожелтевшими листьями.

– Бедный Каудаль!.. Он, правда, здорово сдал... – с непритворным сочувствием прошептала Фанни.

Госсен выразил возмущение тем, что Мария, девчонка, натурщица, посмела надругаться над чувством Каудалья и предпочесть великому скульптору – кого?.. Моратера, бездарного мазилку, у которого есть только одно преимущество – молодость, но Фанни в ответ засмеялась:

– Ах ты, дитя, дитя!..

Она схватила обеими руками его голову, положила к себе на колени и прильнула губами к его глазам, волосам, как бы втягивая, как бы вдыхая его особенный запах, словно это был букет цветов.

В тот вечер Жан впервые остался ночевать у своей возлюбленной, хотя она приставала к нему с этим уже три месяца:

– Ну почему ты не хочешь?

– Не знаю... Я стесняюсь.

– Да тебе же говорят, что я свободна, что я одна!..

Сегодня сказалась усталость после поездки за город, и Фанни удалось затащить его на улицу Аркад, благо это было недалеко от вокзала. На антресолях мещанского дома – с виду почтенного и богатого – старая служанка в крестьянском чепце отворила им с угрюмым видом дверь.

– Это Машом... Здравствуй, Машом!.. – сказала Фанни и прыгнула ей на шею. – А это мой любимый, мой повелитель... Я его привела... Поскорей зажги все, что только можно, сделай так, чтобы в доме было красиво...

Жан остался один в маленькой гостиной с низкими сводчатыми окнами, на которых висели банальные занавески такого же синего шелку, что и чехлы на диванах и прочей мебели из лакированного дерева. На стенах три-четыре пейзажа оживляли обои и вливали в гостиную свежую струю. На всех картинах были дарственные надписи: «Фанни Легран...», «Дорогой Фанни...».

На камине – мраморная, в половину человеческого роста, статуя Сафо работы Каудалья; ее отливки из бронзы были очень распространены – один из таких отливков Госсен еще в раннем детстве видел в кабинете у отца. При свете единственной свечи, стоявшей у подножия статуи, он уловил сходство Сафо с его возлюбленной, сходство, при котором натура выступала облагороженной и как бы помолодевшей. Профиль, линия стана под драпировкой, ниспадаю-

щая округлость рук, переплетенных вокруг коленей, – все это было ему близко знакомо. Восхищение искусством ваятеля сливалось с воспоминаниями об ощущениях интимных.

Фанни, застав его за созерцанием мрамора, непринужденно заговорила:

– Есть в ней что-то мое, правда?.. Натурщица Каудалья была похожа на меня...

И сейчас же увела Госсена в свою комнату – там Машом с недовольным видом уже ставляла на круглом столике два прибора. Были зажжены подсвечники, зажжены бра у зеркального шкафа, в камине, за экраном, пылал яркий огонь, веселый, как первый огонь на земле, – казалось, будто здесь дама собирается на бал.

– Мне хотелось поужинать в моей комнате... – сказала со смехом Фанни. – Так мы скорей будем в постели.

Жан никогда еще не видел такого кокетливого убранства. Обитая штофом спальня Людовика XVI, обитые светлым муслином спальни его матери и сестер ничем не напоминали это усталое пухом теплое гнездышко, где панель прикрывал мягкий атлас, где кровать заменял один из диванов, более широкий, стоявший в глубине на разостланной белой шкуре.

Эта ласка света, тепла, голубых бликов, удлинявшихся в граненых зеркалах, была особенно приятна после ходьбы по полям, по грязи проселочных дорог, под проливным дождем, на закате дня. Единственно, что мешало Госсену с провинциальным смаком наслаждаться комфортом, каким было обставлено их свидание, это угрюмость служанки, ее взгляд, устремленный на него, до того подозрительный, что Фанни наконец не выдержала и мигом уснула ее:

– Оставь нас, Машом... Мы сами за собой поухаживаем...

Крестьянка хлопнула дверью.

– Не обращай внимания, – сказала Фанни. – Она ревнует меня к тебе... Говорит, что я себя гублю... Эти деревенские такой цепкий народ!.. Но готовит она превосходно, из-за одного этого стоит ее держать... Вот попробуй паштет из зайца!

Она резала паштет, откупоривала бутылку с шампанским, ухаживала за ним и забывала о себе, и при каждом ее движении поднимались до плеч рукава алжирской гандуры из мягкой белой шерсти, – она всегда носила ее дома. Сейчас, в гандуре, она напоминала ему ту Фанни, которую он встретил на бале-маскараде у Дешелета. Сидя в одном кресле, плотно прижавшись друг к другу, они ели с одной тарелки и говорили об этом вечере.

– Я с первого взгляда почувствовала к тебе влечение!.. – призналась она. – Мне хотелось схватить тебя за руку и сейчас же увести, чтобы на тебя не посягнули другие... А что подумал ты, когда меня увидел?..

Сначала он боялся ее, а потом страх сменился полным доверием и неожиданным ощущением близости.

– И ведь я же тебя ни о чем не спрашивал... – добавил он. – За что ты на меня рассердилась? За две строчки из Ла Гурнери?..

Она сдвинула брови точно так же, как тогда, на балу, затем тряхнула головой:

– Пустяки!.. Не будем больше об этом говорить... – И обвила ему шею руками. – Я ведь тоже сначала побаивалась тебя... Я пыталась спрятаться от тебя, вовремя отступить... Но у меня не хватило сил, и теперь уже не хватит до конца жизни...

– Ну уж до конца жизни!

– Вот увидишь.

Он ответил ей улыбкой, скептической в меру своего возраста, и пропустил мимо ушей страстно, почти угрожающе звучащие слова: «Вот увидишь...» Но обнимала она его так кротко, так покорно! Госсен был твердо уверен, что из такого объятия он может высвободиться одним рывком...

А для чего, собственно, высвободиться? Ему было так хорошо в этой дышавшей негою комнате, сладко дурманило ласковое дыхание его возлюбленной, которое он ощущал на слипавшихся глазах, а перед глазами все еще летучими видениями мелькали ржавые леса, луга,

мельничные жернова под струей зерна, весь нынешний проведенный на лоне природы, наполненный любовью день.

Утром его разбудил голос Машом, – она, не стесняясь, кричала, стоя у самой кровати:

– Он пришел!.. Ему нужно с вами поговорить!..

– То есть как поговорить?.. Меня же нет дома!.. Зачем ты егопустила?..

Не помня себя от бешенства, Фанни вскочила с постели и, полураздетая, в расстегнутом капоте, выбежала из комнаты, успев сказать Госсену:

– Лежи, лежи, дружок!.. Я сейчас...

Но он не стал ее дожидаться и почувствовал себя уверенно, только когда поднялся, оделся и сунул в ботинки свои сильные ноги.

Собирая вещи, разбросанные по всей этой темной комнате, в которой ночничок освещал остатки холодного ужина, он прислушивался к заглушаемому обоями гостиной крупному разговору. Мужской голос, вначале злобный, потом умоляющий, раскаты которого перешли в рыдания, в слезливую расслабленность, сменялся другим, и Жан узнал его не сразу: грубый, хриплый, он звучал ненавистью и произносил мерзкие слова, какими осыпают друг друга девицы в пивных.

Слова оскверняли ту любовную роскошь, с какой была обставлена эта комната, забрызгивали грязью ее чистый шелк. И сама женщина тоже запачкалась, стала в его глазах на одну доску с теми, к которым он всегда относился с презрением.

Фанни вошла, тяжело дыша, красивым жестом подбирая распущенные волосы.

– Что может быть глупее плачущего мужчины?.. – воскликнула она, но, увидев, что он стоит одетый, в исступлении крикнула: – Ты встал?.. Ложись!.. Сейчас же ложись!.. Я тебе приказываю!..

Затем она так же внезапно смягчилась и, притягивая его к себе и рукою и звуком голоса, проговорила:

– Нет, нет!.. Не уходи!.. Я не могу тебя так отпустить!.. Во-первых, я убеждена, что ты ко мне не вернешься...

– Конечно, вернусь... Что это тебе пришло в голову?..

– Поклянись, что ты на меня не рассердился, что ты вернешься... Я же тебя знаю!

Он дал слово, но в постель так и не лег, несмотря на ее мольбы и настойчивые уверения, что она у себя дома, что она свободна и никому отчетом в своих поступках не обязана. В конце концов она, видимо, примирилась с тем, что ему нужно идти, проводила его до дверей, и сейчас в ней уже ничего не осталось от разъяренной менады, напротив, вид у нее был приниженный и виноватый.

Долгий и проникновенный прощальный поцелуй задержал их в передней.

– Ну так... когда же?.. – спросила она, стараясь заглянуть в самую глубину его глаз.

Он хотел было что-то ответить, конечно, солгать, лишь бы скорее уйти, но тут вдруг раздался звонок. Из кухни вышла Машом, но Фанни знаком остановила ее:

– Не надо!.. Не отворяй!..

И они, все трое, стояли молча, не шевелясь.

Послышался приглушенный вздох, затем шорох подсовываемого под дверь письма и медленно удаляющиеся шаги.

– Я же тебе говорила, что я свободна!.. На, прочти!..

Фанни передала своему возлюбленному только что распечатанное ею письмо, жалкое любовное послание, недостойное, малодушное, нацарапанное карандашом за столиком в кафе, письмо, в котором несчастный просил прощения за недавнюю дику выходку, признавал, что у него нет на нее никаких прав, кроме того, которое она сама соизволит ему предоставить, на коленях молил не прогонять его, обещал принять все условия, покориться во всем... только бы не потерять ее навсегда! Господи, только бы не потерять ее!..

– Убедился?.. – спросила она с недобрым смехом, и этот смех преградил ей дорогу к его сердцу. Госсен мысленно упрекнул ее в бесчеловечности. Он не знал, что в душе любящей женщины есть место только для любимого человека, что все живущие в ней силы милосердия, доброты, отзывчивости, самоотвержения поглощает кто-нибудь один, единственное существо на земле.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.